

Вигли Мельников

из книги

«Впечатлѣнія и Ощущѣния
Штурмана Железнодорожного плавания»

Трезко-горек на горе Кармель
недозревший под самообманом,
Тоска и ковчег на кара-мель
капитан второго бумеранга.

Раздробиле недетских урв,
и строй(цети)блѣт ~ почти у цери,
и в утопке не горит фри-уав,
если маки рвал Макиавелли.

Тод кобыри лодит ход котѣм,
Ветербург ~ надменная Формна.

„Что в гостеприимки моѣм,
раз пророчеств отчество бездомно?»

И на озарѣнности скачок
подсознатель не даёт отсрочки.
В оборотке радужной ~ зрачок;
радуга ж не знает оборотки.

Извержерго вырвало срезка
пикки из-под облачной опеки,
Эпизодичи строят на века
проско-пластириповые мекки.

Вилли Мерьянников

из книги «Ясновидеокассета
из Вавилонодона»

Безответер дул
с оскаристых волв.
Средь слепых акул
Акулист ~ король!

Кровопифий дрожь;
ресторакул пьют.
В запретах вхож
изъястов изъян.

Рыбам плакать преско,
корь рыбак не слышит.
Не определённо
откровенно вышит.

Одессит сиктез
симметричной мозга,
"Стонкий кожи спит срез!"
Тумпирась розга.

Крот не зря не зря.
Не познать пером
кали ~ Юнгу вскачь ~
в архетипподром.

Шы, всакреленный в аргитарь
приторный конфетши!
сном по радуге ударь ~
вряд ли явь расцветишь...

Сухостойко-нескоцим
сроз Заветно-едкий ~
шерстикрылый хиросим
держит заметки.

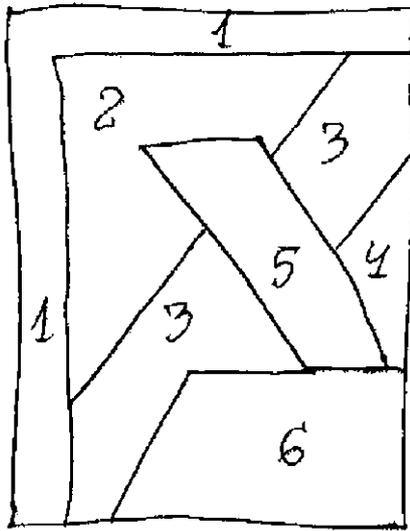
Руслом высохшей струны
свяхем хрусткий кус мы;
сны Ветхозаветреты
от Эккрезиастмы.

СТХА АЛАМАТДИЗ ИЛИГА, ВИ ЯЛАВДИК КУБКІУБРА ЗУН АЛУГА.

ГЪВЕЧІИ ДЕРДЕР ЗИ РИКІЕЛАЙ АЛУДА

ନମସ୍ତେ ଓ ଶାନ୍ତେ ଜୟ
 ଭାବିତ ଭଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା
 ମାତୃଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ହେ ବରଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ହୁମ୍ମାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ବିକ୍ରମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଜିପକ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଉତ୍ତମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 କରାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

Le désastre se
 à l'aube sur le poi
 paquebot de secours
 vicade des hommes su



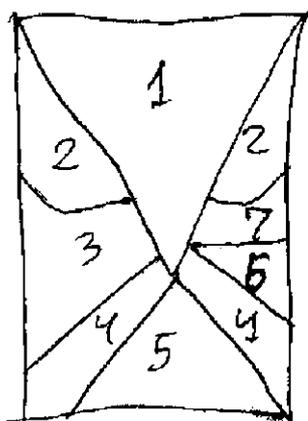
- 1 — лезгинский
- 2 — хиндустани
- 3 — кавказская
- 4 — хопи
- 5 — тобур
- 6 — французский

(Виды Меркисков)

Если мы имеем право выбора своей духовной родины – равно как и право (но не обязанность) санкционировать традицию, доставшуюся «по наследству», – то право на автобиографическое творчество становится новым горизонтом свободы. Именно это и не что иное мы получим, если расшифруем красивую формулу, столь любимую экзистенциализмом: выбор самого себя.

А. Секацкий «Подмена воспоминаний» («Ступени» № 2, 1994)

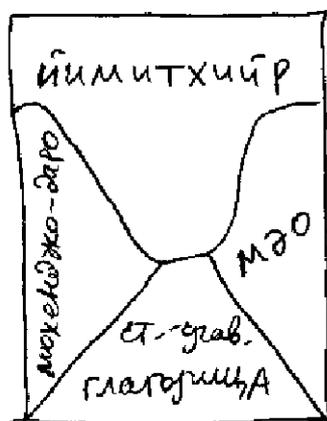
↑ верх



- 1 — ирриририка
- 2 — чжурчжэть
- 3 — шуперо-аккад-элам
- 4 — хакутури
- 5 — зчуша
- 6 — ситэхи
- 7 — икская гретика

Вигурш Мерькекков





Вирги Меритиков :
м/я гоберетт .

Дом

Александр Ле

Во времена седьмого правителя всё как будто бы обернулось в другую сторону. Тогда же жил в пределах областей заморозков некий человек, сын сантехника. С малых лет чувствовал он в себе жжение внутреннего языка, но слов для него до поры не было. Когда же исполнилось ему двадцать семь, он вышел из дома, оставив семью, и по обочине дороги направился в сторону солнца. Женщина, жившая в его доме, выбежала за ним и говорила ему: «вернись домой, куда ты?», человек отвечал ей: «я ощущаю в себе кое-что».

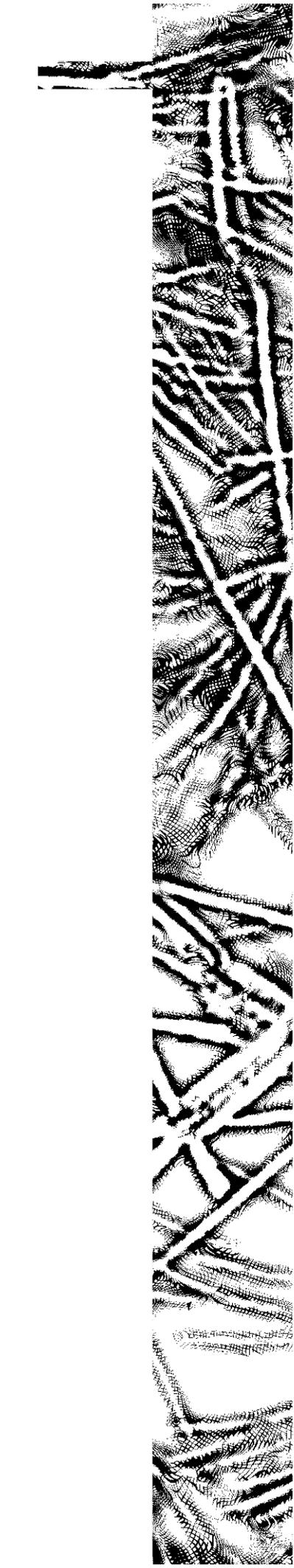
Со временем он приобрёл вид потрёпанный и святой. Люди, жившие по сторонам дороги, по обычаю тех времён пугались его, оставляли хлеб на обочине дороги и подглядывали из-за занавесок. Человек переступал через хлеб и шёл дальше – в сторону вращения солнца. Однажды его догнал и пошёл рядом с ним юноша, спрашивая: «кто ты? можно мне идти с тобой?» – «кто знает, будет ли **там** место для меня? разве **Он**?» – сказал человек и показал вокруг. И ещё он сказал: «мне достанет времени, даже не вкушая хлеба». После этих слов юноша вернулся домой и выучился на сантехника, несмотря на то, что в его деревне не было водопровода.

Когда человек начал приближаться к Городку и когда он приблизился к нему, увидел человек на окраине Городка пивной ларёк и был в том ларёке Шива. Человек же подошёл к тому пивному ларёку и слушал разговоры, там происходившие: «Я – реальный мужик!» – «Нет, ты нереальный мужик!», «если ты из органов, то я – балерина и вот тебе фуэте...», «а эта стерва мне и говорит: «ты, мол, хронь и вшивый, а я – женщина интеллигентная, и пошёл ты!» Я тогда её штотки за дверь и её саму выпинал с хаты...», «...был у меня брат, ему тогда лет двенадцать было, шкодный был мальчонка. Вот он той тётке чтобы насолить да и заберись в её крыжовник и весь ободрал, что прутья только и остались. А тётка проходит назавтра мимо нашего дома, мы там чего-то сидели, и говорит как будто сама с собой: «ну, говорит, теперь добра не жди». Я тогда брату говорю: «сбегай, говорю, к бабке Пеланихе»... А пока человек слушал эти разговоры, Шива смотрел на него, а потом подозвал его и налил ему кружку пива. Человек сказал ему: «у меня нет денег», Шива же ответил ему: «ладно» и рассказал такую историю.

«Когда земля была крохотной, как эта капля на стенке бокала, деревья ещё умели ходить, а камни разговаривать. Тогда же жил некто Паурва, лодочник по призванию. По воле Трэтаны, доблестного воина, обернулся он коршуном и сто дней и сто ночей метался, запутавшись в ветрах, и не мог найти своего жилища. «Душа моя, где моё сердце?!» восклицал он в отчаянии, стервятники же хохотали над ним. Тяжко быть коршуном, я знаю, как тяжело быть коршуном, страшно иметь когтистые лапы и маленькую чёрную головку со злыми глазами. Метаться в тумане меж чёрных деревьев, а крылья словно тряпье, вытасченное из воды, биться об облака, а ты как паец в кольце дураков. Тяжко быть, но тысячью тяжче быть коршуном, иметь когтистые лапы и маленькую чёрную головку со злыми глазами, но тысячью тяжче не знать, где твоё сердце. Что творилось у него на душе? – не рассказать тихими словами («А вы читали Апокалипсис?») встрял очкастый мужичонка). Вот, собственно, и всё. Он пришёл сюда и спросил у меня: «где моё сердце, батя?» – я плакал над ним, а он ушел с молодой стервой».

Человек плакал над горестным рассказом, прятал лицо и вздрагивал плечами. «Довольно уже, сказал Шива, подходит твой трамвай, тебе пора». Трамвай лязгнул металлом и остановился, человек вошёл в него. Окна были задернуты белой тканью, из динамиков сначала звучала музыка, потом заговорило.





Теория общения

Допущение. Каждому человеку изначально присуща способность к уподоблению. Человек нерождённый уподоблен матери во чреве её, уподоблен до красных шариков в крови её.

Испуг и обида рождения оборачиваются сиротством, отщеплённостью, незащищённостью. Человек в эти дни открыт перед миром, весь мир – мать его, а глаза, уши, пальцы – его пуповина. Но вновь и вновь отторгает его мир, не дающий ему тепла, покоя, красных кровяных шариков, так человек учится избирательности уподобления, и это второе допущение теории общения.

Человек, выросший среди камней, так же угрюм, мрачен и молчалив, как камни. Или вот ещё – жил мальчик, уподобленный мухе, он жужжал и размахивал руками, его ставили в угол, били по губам, обёртывали во влажные простыни и он вырос в обычного прыщавого подростка. Как неумелый игрок в крокет, заколачивает человечество человека в ворота личности. И, начав однажды понимать, что мать – это сытость, что свет – это тепло, мы не можем остановиться и продолжаем понимать, что вежливость – это вседозволенность, что ласка – это наслаждение, что насупленность – это покой одиночества. Знание это приходит лишь с опытом общения с другими людьми.

Так, принимая и отторгая, человек становится С собой. Знание особенности мучительно и сладко. Человек выбирает себе круг общения, он общается лишь с теми из людей, что нужны ему в данный момент или определённым образом, нужны для уподобления, для более успешной борьбы с обстоятельствами бытия, для более комфортного существования в них. Подспудно чувствуя, что ему нужна энергия, он выбирает в своём окружении энергичного человека и перекачивает его энергию в себя. Замечая насущность жесткости, он, напротив, находит мягкого и хлещет его по всем щёкам. Как проступающие контуры принимаемых и отторгаемых черт Себя.

Есть память общения, известковый слепок другого в человеке, есть навязчивость образа, пустота и несытость одиночества, когда человек лишён привычного способа общения. Есть труд и власть, есть любовь и искусство, есть тупость и отчаяние, и все эти недоумения может истолковать теория общения».

Трамвай остановился на вершине утёса, в его окна бились ополоумевшие чайки. Седой океан бился о грудь скалы и вскрикивал на разные голоса. Его спутанные волосы дёргал и гладил ветер. Океан был стар, но прекрасен. Человек поселился здесь, на вершине утёса, днями он записывал крики моря, а по ночам спал. Вот что он записал тогда:

«Наивная! руки твои – ветер, трогающий раскалённый камень, раскалённый полуденным солнцем, бестолковым и жестоким. Порывы его – ветра – трепещут в листве деревьев, тополей и ясеней – это я пророс деревьями, наивная! это я распластал листья. Порывы его – ветра – наивная! объятья твои. Что встаёт вдали, тёмное как рёв влюблённого оленя, душное как ласка этого ветра – я дышал, наивная! я долго дышал, но где? руки твои – неотвратимое, как пыль, гонимая его порывами (я пылинка, гонимая ветром, ничтожная, мелочь, згя, неотвратимо гонит меня ветер от глаз твоих, от силы, встающей вдали, от мига слияния, меня, ненужную этой грозе, ничтожную, мелочь, згю), что встаёт вдали, тёмное и душное, что встаёт вдали, неотвратимое, что встаёт вдали?

Наивная! возьми от меня этот перстень, это словечко, это колечко из одуванчика, возьми от меня. Войдём в грозу, – люблю, – я приручил этот ветер – люблю – руки твои, я перстень надел, – люблю – сказал: войдём в грозу с перстнем одним, – люблю – в сполохи и грохотанье, под крупные капли, в проливень, – люблю – я из молний, из грома,

из ливня сотворю – люблю – и тебе поднесу, наивная! и к ногам – люблю – положу. Войдём в грозу со словом одним.

Наивная! сапфиры и смаргды блещут гранями молний, тигриды и жемчуг горстями сыплю на старинный поднос серебрянного неба, но, наивная! глаза твои смотрят на перстень.

Я бросаю мир, замкнутый во мне, со всеми грозами, катастрофами, апокалипсисами, я бросаю его к твоим ногам, но, наивная! глаза твои смотрят на перстень.

Я бросаю себя, измученного неизбежностью, порывами, страстями, я бросаю себя к твоим ногам, но, наивная! глаза твои смотрят на перстень.

Я шепчу тебе: «наивная! руки твои – ветер, трогающий раскалённый камень... я пылинка, гонимая ветром, ничтожная, мелочь, згя... возьми от меня этот перстень, это словечко, это колечко из одуванчика...», но, наивная! глаза твои смотрят на перстень.

Тогда я беру флейту и играю. Я не знаю её слов, но ты их не знаешь тоже. И я говорю тебе – люблю – первым же звуком – люблю! – вторым... а потом, наивная! глаза твои смотрят на флейту.

Возлюбленная! говорю я тебе, нежность томит меня, нежность. Дай слово мне, чтобы излить, дай тело, губы, язык. Небрежность уроков и записей на страницах твоих неизъяснимы мне. Как? сильному, как слабому любить. Возлюбленная! нежность томит меня, нежность.

Я был поэтом и иконописцем, продавцом мыльных пузырей и человеческих душ, натурщиком и капитаном, клерком и философом, крылатым и собирающим цветы, хиппи и денди, астронавтом и кардиналом, гомосексуалистом и схимником, – но сегодня, возлюбленная! нежность томит меня, нежность.

Я был добрым и злым, ласковым и жестоким, мстящим и обиженным, смиренным и протестующим, юродствовал и заглядывал в глаза, ел с руки и святотатствовал, любил и ненавидел, – но сегодня, возлюбленная! нежность томит меня, нежность».

Дом-2

Во времена восьмого правителя дела приняли несколько энергический оборот. Трамвайный парк полностью обновили, началась реконструкция путей. Юный водопроводчик утвердил в сельсовете проект фонтана в кленовой роще, но из-за недопоставки гипса на изображение улиток по парапету – запил и отдал богу душу. На седом утёсе появился дом, сложенный из нетёсаных глыб известняка.

Шли годы. Реконструкция путей затянулась, трамваи перестали ходить к океану. Никто не выбирался в эти унылые края, на суровый утёс, военные и служащие, что составляли основную часть жителей. Городка, предпочитали проводить досуг в кинотеатрах и на берегу речки Звонок. Со временем мост через Звонок обветшал, рельсы изъел в труху солёный ветер. Только вездесущая пацанва в погоне за стрекозами и бабочками изредка забегала сюда, по тополёвой дороге, заросшей чертополохом, да и они, завидев вдали фигуру сгорбленной старухи, по-воробьиному прыскали по сторонам и оврагами улупётывали в сторону моста.

Старухой пугали малых детей, она словно испокон веков жила в доме на седом утёсе. Шпалы трамвайных путей были пущены на дрова и сгорели в очаге. Последние годы старуха вынуждена была спускаться к ольшанику на берегу речки Звонок, а потом, с несообразной вязанкой на сложенных плечах, чёрной подраненной птицей, вновь взбираться к своему жилищу. Осенью, во время дождей, речка выходила из берегов, разливалась, подступая к самому подножию утёса, и тогда из трубы дома неделями не шёл дым. У старухи было выбуревшее лицо с чёрными завалами глаз и немощные руки – кургузые, морщинистые и вежные.



Жизнь – альбом. Человек – карандаш. Дела – ландшафт. Время – гумиэластик: и отскакивает и стирает.
Козьма Прутков. Плоды раздумья

Я в молодости знал женщину, жившую с человеком, героем этого повествования, и, следуя поначалу ее рассказу, а впоследствии направляемый слухами и домыслами, с которыми я в избытке столкнулся, пытаюсь найти концы этой истории, добрался до Городка. К тому времени старуха уже перестала спускаться к реке, а дом заметно обветшал. От моста через речку Звонок остались лишь полусгнившие сваи и мне пришлось долго искать мелкое место, чтобы перебраться на другой берег.

Вблизи дом производил ещё более тягостное впечатление, чем изда-лека: глина, скреплявшая некогда камни, местами выветрилась, и, казало-сь, достаточно было бы малейшего толчка, чтобы стена обрушилась. Двери и рамы пустых окон со скрипом покачивались на ржавых петлях, под ногами скрежетало битое стекло. Я обошёл все помещения, нигде не замечалось ни следа жизни, ни намёка на смерть, у меня сложилось впечат-ление, что хозяева в спешке, но тщательно собрались и ушли. В углу одной из комнат мне попались на глаза останки письменного стола. Дви-жимый каким-то наитием, я приподнял столешницу и обнаружил в одном из ящичков запылившиеся листки бумаги. Они лежали в беспорядке, на од-ной стороне каждого угловатым, строгим, несколько нервным почерком были записаны строфы странных стихотворений. С обратной же стороны можно было разобрать слова, начертанные другой рукой, почерком более мягким и округлым. Обходя другие помещения дома, я нашел среди камней и стекла еще несколько листков и присоединил их к найденным в столе. Как я теперь понимаю, автором стихотворений был герой моего повествования, а пометки к ним, комментарии, чем-то напомнившие мне надписи на обратной стороне фотографий, писала женщина, долгие годы жившая с ним в этом доме на вершине седого утеса. Листки не были про-нумерованы, поэтому порядок расположения я выбираю по своему про-изволу. К тому же, со всей неизбежностью, часть листков наверняка унес ветер, беспрепятственно гуляющий по всему дому. Вот они.

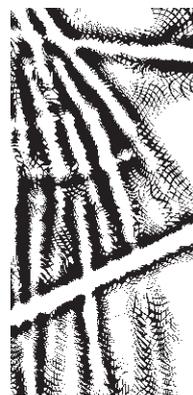
* * *

Мой милый божок, это утро и утро,
пронзённое ярым,
и край посторонних синиц, и внутренний,
сжигающий душу пожар,

и тысяча тысяч любовей, отметивших
небо росой – тебе, твоим пухлым губам,
глазам твоим, самым пряным. И ветер
целует излучины лба –

порука мне, память и суд,
пальцы мои, которые всегда где-то рядом,
играют твоими волосами, повторяя, повторяя:
мой милый божок, это утро и утро

Утро было суетливым, пылинкой в че-харде блаженных обстоятельств, ладони окунались в искрящуюся – мелкие пузырь-ки как осколки хрусталя дрожали на них, замерших на миг медлительного парения солнца – воду. Я обращалась к нему и зве-нящая терпкость плескала в лицо, господи, воистину, словно некое божество! Повто-ряла за ним слова, про себя, повторяла и заучивала, ужасаясь забыть и не осмели-ваясь понять.



* * *

Остров или излучина рук,
тёплых как омут и чуждых как боязнь
обид прошлого года, разлуки
с бесноватой луной.

Когда небо выворачивается чернью,
рвёт тучи на грудках дрогнувших синиц,
крохотный месяц трепещет в метели,
в изломах ладоней вижу твоё лицо.

И тогда приходит чувство, что это возвращение
в край, где благоухает айва и лист
лимонника, и сквозь сердце и стены
домов пролетают посторонние синицы.

* * *

Брызнуло утро. Город эполетов и манишек –
наяву – как бы изменился в лице.
Небо сыпало серебром, лишние
люди, было решено, не просыпаются.

Когда брызнуло утро, я был обманут
его праздничным блеском. Болело горло.
Я подставлял руки, но был обманут –
небо сыпало серебром.

Настоящий день никак не наступал. Горланили
посторонние свиристели,
солнце пьянело от мороза и блеска,
глаза слезились, глаза.

И если бы из сугробов выглянуло счастье,
я бы не трогал его руками –
в извилинах твоих плечей ластанся
встопорщенные, перепуганные

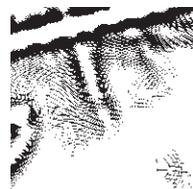
* * *

Руки клёнов распахиваются. Створы
улиц сочатся трамваями, слепыми.
Небо, небо замыто бельмами боли.
Топорщатся трубы и кургузые деревья.

Раны камня, раны камня, стоны набережных.
Хрип, чей хрип из расщелин зданий.
Окно глядится в другое – осторожно! –
отражения бесконечны, непрестанны.

Возвращаясь в мирок соли и ветра,
пытаюсь понять, где мой влажный и тёмный угол.
Растопыренные кленовые руки
тщатся рассказывать о лете.

Как будто давно рыдает ветер и бьётся
головой о стену. Засовывает руку в тру-
бу и чёрной тростью лупит по головам по-
лохов пламени. Он уходит к реке,
у излучины туманно, шевелятся жирные
волны. Моё окно как жирная вода у его
ног, замершая в ожидании сумасшедшего,
с горсть, месяца, сударика-месяца с гор-
стью пряностей из далёких стран.



Сегодня на удивление прозрачный
день – «мороз и блеск», как девятнадцать
лет назад. Город в низине показывается
боком, покрытым алмазной пылью, река
Занги обозначена лишь иглами ракич.
Ровно девятнадцать лет назад от нас ушёл
А, пропрыгал чёрным чёртиком среди
иголья и растаял в Городе. Я до сегодня не
могу понять, всё прикидываю на пальцах,
что он думал о нас и что он думает сейчас
о нас, о Городе, что считает и как. Загибаю
пальцы, а потом глаза мои перестают ви-
деть от слёз, я сбиваюсь со счета и гляжу,
не видя, на маету и чад внизу, за речкой,
в Городе.



Повторяла ему «не ходи к ним»,
вернулся с разбитым лицом, плакал,
«они ставили меня на колени». За что,
милый?! «Я говорил им о любви». Так
просто, показалось, что перед ним лю-
ди, захотел, чтобы они увидели небо
и реку Занги. А они смеялись и играли
в кости. «Может, я слишком сразу?
А как нужно?» Отродясь, что ли, заве-
дено, и что? Долго сидел, разглядывая
кленовый лист, потом растолковывал
всё А, пока тот не уснул, успокоенный.





* * *

Ты – весеннее шествие улиток
вдоль воды от влажного песка
к влажной траве. Умытый
утром и солнцем в тысячелистниках,

кто шёл вдоль воды к влажной траве?
Твои помыслы и твоя любовь на песке
играют в чехарду, овейанные
утром и солнцем в тысячелистниках.

Пальцы твои – трепет ветра на воде.
Разве это не повод, чтобы остановиться
и бояться нарушить шествие
улиток вдоль воды, вдоль воды.

Вода сползает с руки, щекоча, останавливается и вздрагивает. Шла по траве, холодной, в каплях, боялась ступить, ступни ставила крестами, кривыми как стебли, склонённые росой. Пригоршня воды отрывается от ладоней и вздрагивает, замирая в воздухе – трепещет птица крылами, рождается улитка из глины. Сухие глаза тысячелистников.



* * *

Раздвинул глаза прочь. Небо упало на «з».
День начался как обычно, с дождя.
Граждане заморозков секли траву. С
сердца как? отрясти иней усталости.

Только струенье воды по стеклу
(Даждьбог нацепил окуляры и его зрачки
стали крохотными). Видит иглу,
на которой быются стрекозы и бабочки духа.

Повторенье уроков неба как дождь,
прочь разлетаются стрекозы, стрекозы и бабочки.
В эту бесноватую ночь
может вечно носиться с иглой. С иглой.

Солнце как стояло в зените, так и разбежалось по сторонам. Небо неслышным звуком упало на лицо – дождь. Так он мне объяснял. А потом вращать ночь на остриях взглядов – до рождения махаонов. Махаон – душа ночи, которая отлетает, когда ночь спит. Нельзя, нельзя ловить и иглить махаонов!



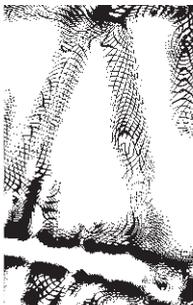
* * *

Вода распирает меня. Потоки,
водовороты и заводи. Омуты
лиц и бассейны фасадов. Очи
сердца впитывают, кроме – ты

словно ветер скачешь по ряби
камушком по глади понимания.
Душа – яблоко, яблоко,
плывущее по реке Занги.

Игра в птицу нырок, испытующую
глубинное удивление воды.
И если глядеть в воду – таешь –
и если глядеть из воды, из воды.

Принесла яблоко и подарила ему. «Господи,» сказал, далеко протянул на ладони и разглядывал, поворачивая всеми боками. Это страна Ты, а это страна Я, показал он. Это яблоко, сказала я. Глубже что-то темнело, «душа», думал он, но не говорил. Смотри, я опустил яблоко в реку – яблоко покачивалось, оборачивалось всеми боками и вдали пускало корни, ветвилось и, прежде чем пропасть из глаз, вспыхнуло розовым светом.



* * *

Как постоянный июнь
ночью шёл дождь. Тополя, тополя -
одиннадцать ног полнолуния.
Как постоянный вор, постоянный
там, за стеной, кто.
Жженья дождя там, за стеной,
в сердце полохи постоянного
июня. Уходит рота полнолуния
по игле темени, ночной
дождь бормочет, шарахается
там, за стеной страх
постоянный, страх постоянный.

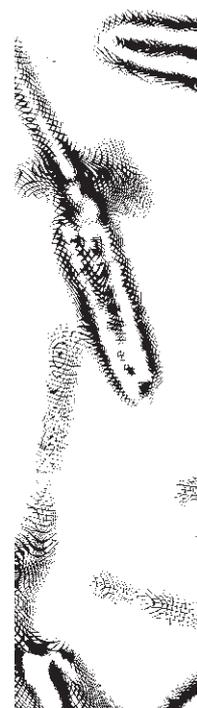


Помню сон о шагающих деревьях, которые вышли из тьмы и строем прошли туда. Потом было чувство незащитности – я одна в доме, а снаружи, в ночи непонятные, страшные возня и переговоры. Боялась пошевелиться и обернуться – сзади кто-то стоял и словно размышлял, что со мной сделать. Закрыла глаза и видела сон: этот, сзади, вышел и ходит по комнате, как бы не замечая меня, но я знаю, что он только делает вид, а на самом деле ждёт, чтобы я отвлеклась и утратила бдительность. Он смотрит сквозь меня серым безглазым лицом и снова шарит вокруг себя невидящими руками. В дверях появляется ещё один, чёрный, я понимаю, что за двоими мне не углядеть, ужас захлёстывает меня – и я просыпаюсь. Я опять сижу одна, за спиной стоит кто-то и сдерживает дыхание. Я тоже не решаюсь дышать, вслушиваюсь в тишину, страх опять наползает на меня...

И тогда меня будит мой мудрый и говорит «послушай», и читает стихи.

* * *

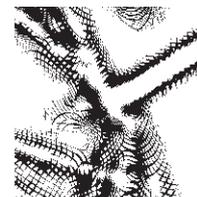
Гипс твоего лица не поддаётся рукам.
Вечно ходить по улицам и искать глаза.
Память твоих жестов – порука,
что любовь и суд продолжаются.
Милый скульптор в цветах прикосновений,
я привык обижать и бояться тебя,
что мне делать с таким умением?
Обижать и бояться.
Разглядеть в соцветьях лицо и
услышать в листве звук голоса –
это самая тяжёлая из наук
после искусства любви.



* * *

Игра губ. Блескание в реке Занги
обнажённых людей. Ныряют в заводь –
хочется кричать странные слова.
Игра губ. Немнота реки Занги,
когда скрещиваются ноги и когда
выныривает птица. Насупилось
небо и уходит в себя вода
реки Занги. Игра губ.

Наш А сегодня впервые поплыл! Звонок был тёплым и тёмным, а тельце А светилось и искрилось пузырьками, прижавшимися к нему, вытягивалось и извивалось в кривизне воды – я стояла на берегу. Могу только вспоминать из глубины, что он чувствовал в тёмной реке, мерцая и пропадая в неверном движении туда и обратно. Когда А вышел из воды, с него стекали живые струйки, и там, где раньше я видела себя, была ночная река.



* * *

Серое утро. Дрожит
ветер, смещая воздушные массы
по плоскости зябей.
Женщина в чёрном платё
кричит в мегафон над пустынным
перроном: «Сы-ыны-ы!
Хороним водонапорную
башню в российских просторах.»

* * *

Когда взгляд расширяется в звёздную слепоту,
неожиданным бликом с той стороны поля зрения
всплывает лицо, как пламя в небо,
как огонь в пальцах, в глазах – отблески огня.

Плещет сердце разинутой рыбой.
Рассвет проводит влажным пальцем по зеркалу сумерек.
Совершая ритуальный танец бытийства, быта, я
сдуваю тончайший пепел с души внутренней.

* * *

Над рекой Занги – туман.
Беззвучно плавает птица. Она
ищет вечер, ищет вечер. Или ветер.
Над рекой Занги туман. Огонь

виден вдалеке, виден вдалеке –
птица, пляшущая в молоке.
Гаснет день. Над рекой Занги
беззвучно проплывает ярое.

Иногда он останавливается
и устремляет широко раскрытые
глаза вверх, вспыхивает как све-
ча, лицо его отрывается, однаж-
ды прорвалась вода, набежали
люди, кричали, дергали за
одежду, я металась, да что вы!
обернулись вдруг стаей птиц и,
плеща крыльями по лицу, обле-
тели. Он подбирает тлеющие
обрывки и пытается собрать
слова, буквы осыпаются, ис-
крясь, гаснут, пускают удушли-
вый дымок. Я не знаю, как ему
помочь, овеваю его воспалён-
ный лоб крылами белыми – кто
ты? – жена твоя – уйди, я дол-
жен сгореть один, уйди, я дол-
жен сгореть один. По чёрной ре-
ке уплывает пепел, его нет, я
одна.

Он уходил, он уходил, он ушёл. Он
уходил и подбрасывал мне листки со сти-
хами. Он ушёл и лишь через месяц чёрная
птица принесла мне этот стих. Я вижу, что
это конец, ушёл А, ушёл мой милый. Я не
упрекаю себя, за что? пусто стало на на-
шем холме, пусто над рекой Занги. Лишь
временами шныряет над головой солнце,
сколько ещё, Господи!

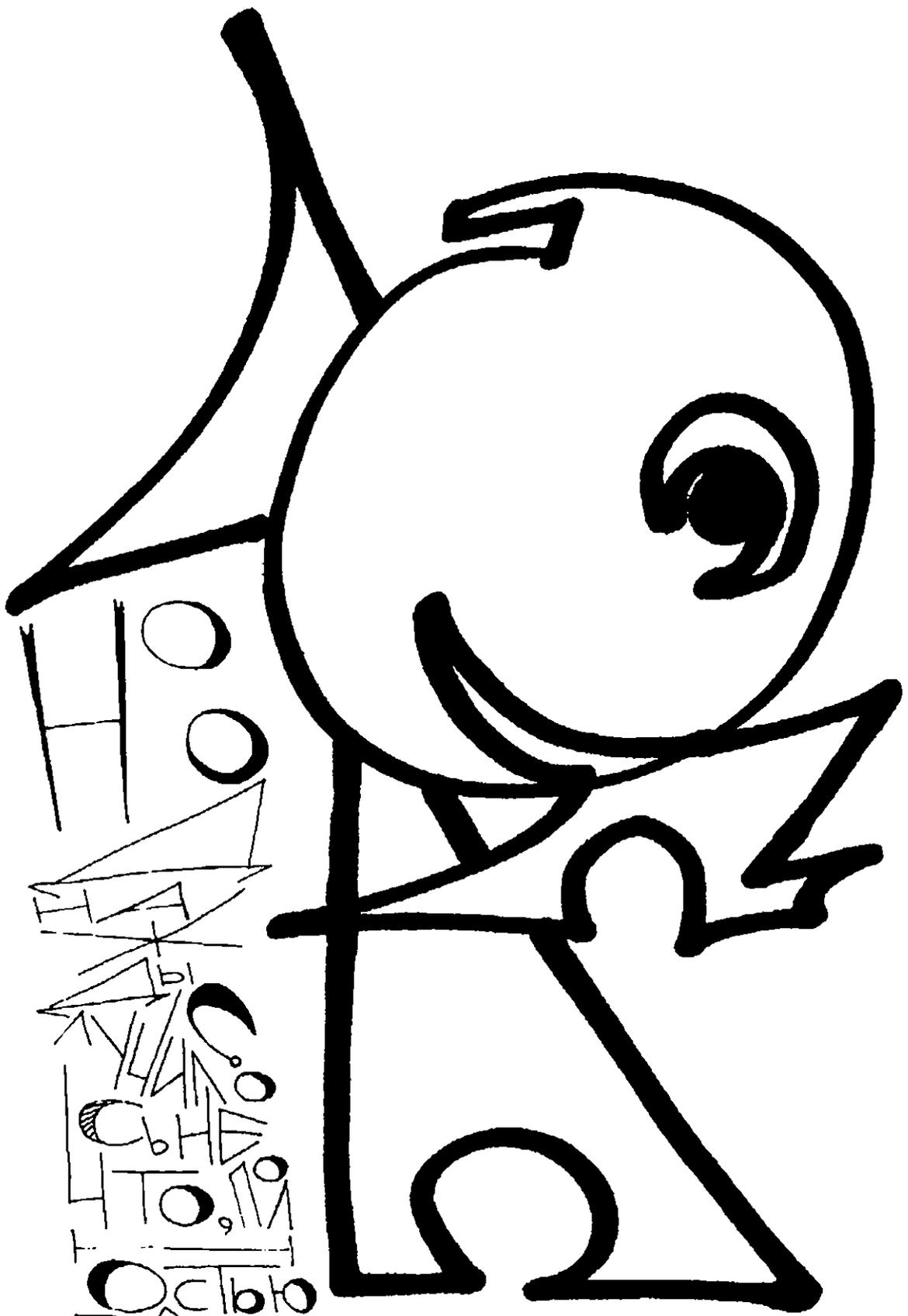


Митрич

Происшествие

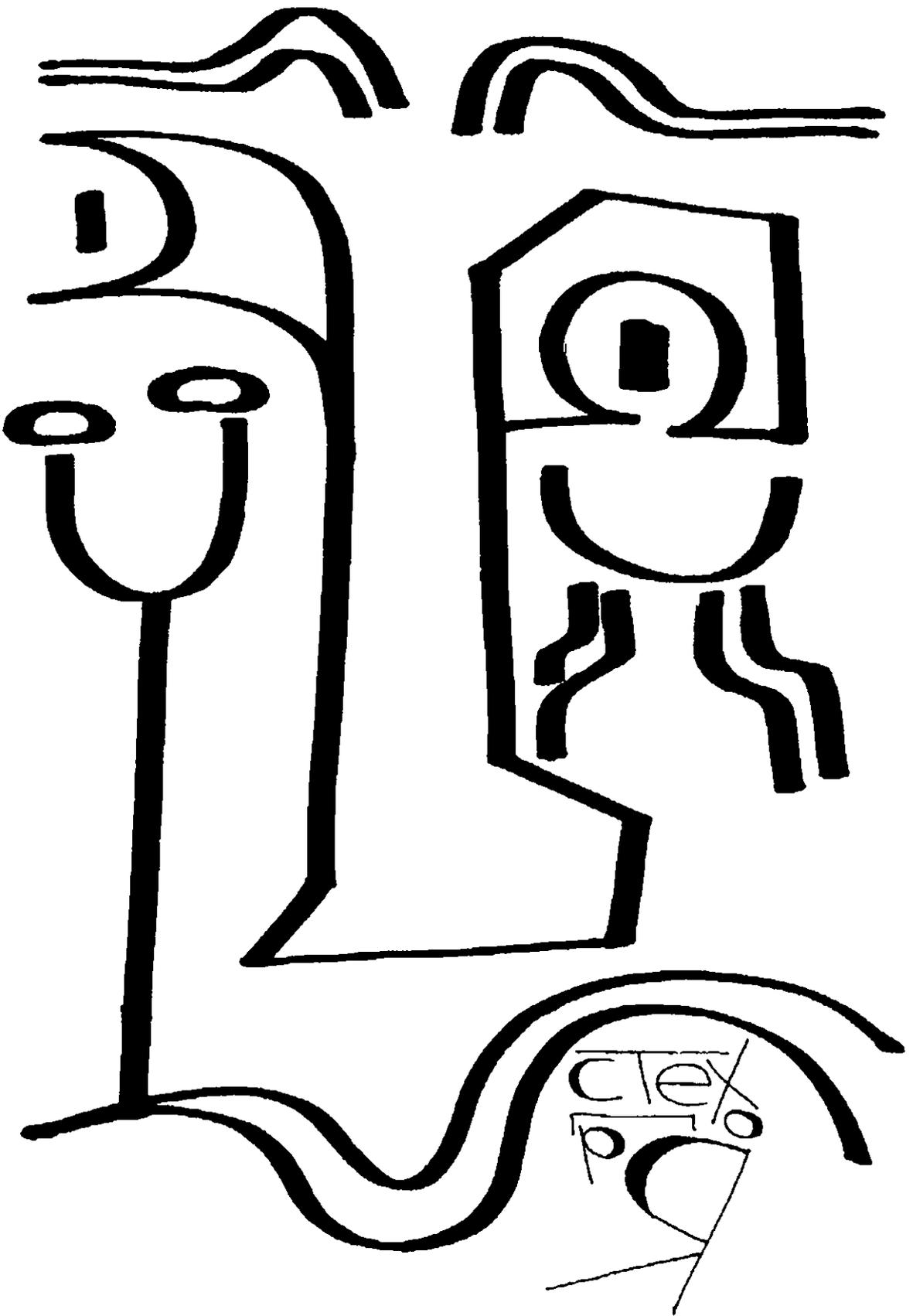


ИЗНАМОЯ
ДО ПОРЫ ДО
ВРЕМЕНИ
ПРОТЕКАЛА
ПОРО
ЛМ
ВУ
МЕОЗ
РЕННО.
РОЖВАЛ
В НЕ БОЛЬ
ШОМ
УЕЗД
ПОМ
ПОР
ДО ПО
МУ РО
МХОДИ
ЛНО
ЛУЖБУ
ВЕЧЕ
РА
М
И



Особо
Земле
Ферриву
Емрнмхд





Один день Александра Сергеевича

«Товарищ, верь...», а дальше строфа не складывалась.

Александр Сергеевич устало откинулся на спинку кресла и теперь уже издали посмотрел на лист бумаги, лежащий на письменном столе. В зеленоватом от абажура свете лампы четко вырисовывались буквы, написанные от руки. Посередине листа большими значилось: «МАРШ МАКАРОНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ». Ниже шла не очень понятная надпись буквами поменьше: «ООО «Продукт», еще пониже: слова А. С. Пушкина, музыка П. И. Чайковского. После двойного интервала начинался текст: «Товарищ, верь...» и дальше ничего не было. Строфа не шла! Сегодня встал пораньше, пока все спят, но строфа опять не пошла.

«Хорошо Петру Ильичу, – позавидовал Пушкин. – Думай о прекрасном и пиши музыку! А здесь?! И чтобы тебе про макаронны, и чтобы с фасоном! Да, закончилась тематика: космос, БАМ. Нынче макаронны и колбаса! Никак не перестроиться, староват, видно!»

Мимо двери кабинета мягко прошелестели легкие шаги. «Наташа встала. – с грустью подумал поэт. – Сейчас начнется: «Как жить?! Где денег взять?! Давай квартиру продавать!» Ужас! Нет! С Мойки – никуда, только на кладбище!» – решил твердо. Представил себе милое заспанное лицо жены, опять мысли не дают покоя: «Эх! Где бы сумму занять?! Тысячу долларов, на год? Негде! Как Державин умер, так ни у кого не допросишься. Да и не у кого! У Пущина – у самого нет. Откуда у него деньги? Можно было бы попробовать у генерала Раевского, генерал пенсию исправно получает. Однако не выйдет – у генерала! У него родственников вон сколько! За два дня очищают! Генерал сам пшенку с морковкой на растительном масле весь месяц жует. Видел! Нет, у генерала не получится! Толстые? Все разбежались. Кто в Америке лекции про русскую литературу читает, кто на Би-Би-Си – про разное. Эх! Был бы Кюхля в Питере!»

Вспомнил доброе лицо друга в круглых очечках от близорукости. «Кюхельбекер непременно бы выручил! – думал Пушкин. – Да

где там?! Нашел у себя «немецкие корни». Вот уж два года как в фатерлянде на пособии живет. Как он уговаривал: «Сашка! Сашка, давай мы тебе еврейскую ксиву сделаем! Недорого, всего две тысячи. В Израилевке тоже жить можно. Ты, вон, кучерявый и смуглый. Устроишься!» Чего там об этом думать! Чего вспоминать?! Двух тысяч, все равно, не было и нет! Советовать легко!»

Поэт задумался, взял со стола толстую папку с надписью: «Капитанская дочка. Исторический детектив». Вот, послушался! И что? Все приложились: «Стихи не идут, время не то. Пиши детектив!» Написал! Сколько времени угробил, всю публичку перевернул. «Башмаки только по редакциям изнасил. – вспоминал с грустью. – Что странно, всем нравится: яркий самобытный язык, увлекательный сюжет, а печатать – не печатают! Только советуют. Совет, советы, советы!»

Вспомнил редакторов и совсем померчал. «Странные люди! «Ваша барышня Маша, – говорят, – слишком старообрядная. Исправьте: пусть курит папиросы и не умеет готовить!» Машенька с беломором?! Нет, это уже слишком! А сцена во дворце? Говорят: «Нужно развить! Сейчас народ этим интересуется! И обязательно ввести лесби! Нынче время полисексуализма!» Императрица – лесбиянка?! Я им говорю: «Это не соответствует исторической истине!» А они: «Кого это интересует?! Главное, чтобы захватывало!» Что за времена?!»

Александр Сергеевич злился: «Зато Гринев всем понравился. – с отвращением вспомнил Пушкин. – «Ваш Петруша совсем «голубенький», просто прелесть! Но нужно развивать: пусть белье женское носит и косметикой пользуется! И чтобы с Пугачевым дружил, непременно!» Дикие люди! Я им говорю: «Пугачев – злодей, а не гомосексуалист!» А они мне: «Одно другому не мешает! Ежели насчет злодейств, то они у Вас слабые, доморощенные! Повесили капитана. Ну и что? Эка невидаль! Разве это злодейство? Нужно, чтобы тело расчленили, чтобы: голова – отдельно, руки – отдельно, ноги – отдельно! Побольше и подробнее. Страниц, этак, на тридцать! Да чтобы кровь ручьем

лилась. Вы что? Современные детективы не читаете?» Именно, не читаю!» – поморщился поэт.

«Главное, совершенно не понятна логика. – размышлял Пушкин. – Структура, тематика – раньше все было ясно, а теперь? «Капитанская жена, – говорят, – образ недо-работанный. – В предложенном виде лишний персонаж! Однако, при разумном оформлении, может стать ключевой фигурой. Догрузите ее! Пусть займется нетрадиционной медициной! Заговоры на энурез и припарки из трав от бородавок. В заключение дайте десяток-другой рекомендаций, рубрика: «Рецепты капитанской жены». Кроме того, резюме от травника. Есть у нас один опытный человек. С песнями уйдет, посмотрите!»

Александр Сергеевич пришел в негодование: «Ну, и куда это годится?! С ума сойти можно! Нет, детектив не вытянуть. Здесь профессионал нужен. Пушин так и сказал: «Брось, Саша! Вернись к привычному, к поэзии!» Оно, конечно, привычнее, но стихи сейчас никто не печатает. Вот и остается только тексты к песням да маршам писать. Как жить? Где деньги брать?» Он ласково погладил папку ладонью и спрятал в ящик стола.

В квартире тишина, все спят, хотя уже одиннадцатый час. «Спокойно, хорошо! – подумал Пушкин. – У Наташи выходной, у детей в школе учителя второй день бастуют! Это ничего, пусть отдохнут! Все одно: денег нет, идти некуда, есть особенно нечего. Пусть поспят! Однако, время! Нужно звонить! Обязательно. Как бы кто не помешал!»

Пушкин достал записную книжку, нашел листок с надписью: «ООО Козлов-Дантес Интернейшинел». «Хоть бы повезло! – вздохнул поэт. – Ведь может быть?! Может быть, тысяча? А может быть, ...?! – Александр Сергеевич прикрыл глаза и поморщился, предвкушая удовольствие. – Господин Козлов известный бизнесмен, член Законодательного собрания города. У него неограниченные возможности. А средства какие!!!»



Решительно подошел к телефонному аппарату, снял трубку, набрал номер. Ответили без задержки. Он быстро объяснил, что написал «Гимн мясников» для конкурса, проводимого их фирмой. Его гимн занял первое место, и он хочет узнать насчет приза. Секретарша извинилась, попросила подождать немного, а через минуту предложила приехать к ним в офис прямо сегодня, не откладывая. Честно говоря, он растерялся. Не ожидал такого быстрого приглашения, согласился, совсем не думая. Секретарша назвала адрес и время, только тогда до него дошло, что нужно ехать прямо сейчас. Придя в себя, смутился: «Как сейчас?! Сейчас он не готов!» Однако отказываться было поздно, из трубки доносились короткие гудки. Придется ехать!

Александр Сергеевич посмотрел в окно. Пасмурно, но дождя нет. Подумал: «Ну, слава богу!», отошел в угол комнаты, вытащил из-под кресла пару башмаков. Перевернул их кверху подошвами: на левой зияла большая дыра. Вздохнул, наклонился, поставил башмаки на пол, достал из-за кресла вторую, точно такую же пару башмаков. Перевернул их кверху подошвами. Увы! На левой башмаке этой пары зияла еще большая дыра. «И почему это изнашиваются левые? – задумался поэт. – Наташа так радовалась, что к свадьбе две пары купили. А вот, обе пары изнашивались! Да, время, время! Хорошо, ежели дождя не будет, тогда можно и с дырой. А если дождь?! Не иди же в двух правых?! В магазин, правда, ходил. Но в офис нельзя! Заметят – засмеют!» Все его существо захлестнула злоба, навалилось отчаяние: «Что происходит? Как дошел до такой жизни?! Ведь сколько было рукоплесканий: «Талант! Талант!» Ну и что? Что за талант, если целыми днями только и мечешься: где бы на кусок хлеба достать?! Как бы семью не умирить?! Что происходит на этой земле? Есть ли на Руси люди с талантом, которым жить хорошо, вольготно и спокойно? Если есть, то какой для того талант надобно иметь?»

Постепенно поэт успокоился. «Ладно! Будем надеяться, что дождя не будет», – решил он и поставил вторую пару на старое место, за кресло. Пора!

И вот Александр Сергеевич уже шагает по знакомому переулку недалеко от Сенатской площади. «Неплохо устроился господин Козлов, почти что в Эрмитаже!» – остановился он у парадной с колоннами, собрался с силами и толкнул большую дверь. Дверь подавалась на удивление легко.

Пройдя через тамбур, Пушкин попал в просторную залу с широкой мраморной лестницей наверх. Справа и слева у входа на

лестницу стоят древнегреческие статуи, изображающие танцующих нимф. У левой нимфы отбита рука, и она выглядит печальной. У правой нимфы отколот кончик носа, и она, напротив, выглядит очень игриво. Все кругом напоминает старый богатый аристократический дом. Почти все. С интерьером не вяжется только застекленная железная будка справа от лестницы. В будке на диванчике сидел пожилой мужчина в милицейской форме с большой резиновой дубинкой у пояса. Александр Сергеевич хотел было спросить разрешения пройти наверх, но милиционер не смотрел на него и было не понятно, спит он или бодрствует? Прошел мимо молча, никто не остановил. Поднялся на второй этаж, как советовала секретарша по телефону, и очутился перед громадной дверью, окованной железом. Из двери на него смотрел очень маленький стеклянный глазок, сбоку двери торчала заметная красная кнопка. Около кнопки в стальном дверном листе насверлены маленькие отверстия-дырочки. Пушкин нажал на кнопку и назвал себя, стараясь говорить в дырочки. В ответ кто-то где-то неопределенно захрюкал, замок в двери щелкнул, и она открылась чуть-чуть. Александр Сергеевич потянул дверь, открыл настежь, вошел внутрь. За дверью сразу попал в большую стеклянную кабину-аквариум. Вторая дверь из кабины выходит прямо в коридор. Дверь сзади закрылась сама собой и захлопнулась. Теперь от внешнего мира его отделяли: с одной стороны лист бронированной двери, а с другой – стена из толстого авиационного стекла. Стало очень неуютно и жутковато, коридор был пуст. К счастью, из-за угла вышел коренастый молодой человек с невыразительным лицом. Он открыл вторую стеклянную дверь и впустил Александра Сергеевича в коридор. Затем он достал откуда-то металлоискатель, как у милиции в метро и аэропорте, стал быстро махать им вокруг. Не обнаружив металлических предметов, предложил следовать за собой.

Пройдя несколько метров по коридору и свернув за угол, они попали в большую светлую комнату-приемную. Из приемной шли две двери. На одной двери висела табличка с надписью «Генеральный директор». Рядом с дверью стоял большой стол с монитором компьютера. За столом сидела очень элегантная девушка-брюнетка. На другой двери висела табличка с надписью «Исполнительный директор». Рядом с дверью стоял аналогичный стол с таким же монитором от компьютера. За столом сидела очень элегантная девушка-блондинка.

Охранник подвел Александра Сергеевича к столу с брюнеткой и что-то забубнил не-

разборчиво, глотая окончания слов. Но девушка, видимо, уже привыкла и поняла. Она быстро встала и заговорщески зашептала Пушкину:

– Извините, ради бога, извините! Произошла непредвиденная накладка! Господин Козлов сейчас чрезвычайно занят: он проводит переговоры с полномочным представителем родственной французской фирмы господином Дантесом. Собственно, вам-то и нужен господин Дантес, поскольку приз учрежден французской стороной.

Секретарша смотрела на поэта с сожалением, но сочла нужным подчеркнуть важность происходящих событий:

– Кроме того, там – девушка кивнула на закрытую дверь, – сама госпожа Люфа! Вы ведь знаете, какая это персона: Государственная Дума, Фонд поддержки инициатив. Телевизор смотрите? Не обижайтесь! Давайте немного подождем. Они должны скоро закончить. У госпожи Люфа самолет на Москву!

Девушка с таким сожалением извинялась и с таким уважением произносила фамилию «Люфа», что Александр Сергеевич почти с удовольствием ответил:

– Хорошо! Давайте ждать!

Секретарша усадила Пушкина на кожаное кресло в углу приемной и вернулась к своим делам. Александр Сергеевич, заметив, что на него больше не обращают внимания, постарался устроиться поудобнее: вытянул ноги и откинулся на спинку. Девушки-секретари будто позабыли о нем и переговаривались между собой через всю приемную, каждая сидя за своим столом. Непринужденный разговор обо всем и ни о чем: о новой машине Козлова, о нижнем белье фирмы «Триумф», о нахальном... Про Пушкина позабыли. Разговор девушек коснулся различных тем. Александр Сергеевич, сам того не желая, узнал, что: господин



Козлов раньше служил в армии по вещевому снабжению, демобилизовался в чине прапорщика, открыл в Петербурге магазин строительных товаров, потом прибавил к нему продуктовый, потом – антикварный. Девушки считали своего начальника человеком необыкновенным, выдающимся.

– Если талант есть, то он есть! – сказала блондинка брюнетке. – Все равно когда-нибудь проявится! Вот шеф, с «ничего» начал, с трех рублей в кармане, а теперь – миллионер!!! И институтов никаких не надо! Талант нужен!

– Точно! – согласилась брюнетка. – Не верю, когда говорят: «Умный, образованный, но бедный». Если умный, почему бедный? Мало ли какие таланты по улицам драные бродят! Что это за таланты?! Нет, сейчас время настоящих талантов!

Разговор секретарш непрерывно перепрыгивал с темы на тему, и они уже добрались до нового фильма с Сильвестром Сталлоне, когда дверь директорского кабинета внезапно широко открылась, и из нее буквально «выкатился» толстенький невысокий человек на коротких ножках. Ничего необычного ни в его одежде, ни во внешности не было, но обе секретарши мгновенно вскочили со своих мест и в один голос очень тонко пропищали:

– Мосье Дантес, что-нибудь желаете?!

Но мосье Дантес не обратил на них ни малейшего внимания. Он не спеша заходил взад и вперед по комнате. Видимо, просто засиделся и разминал ноги. Пушкина будто вообще не существовало в помещении. Вслед за кругленьким человечком из кабинета в приемную вышли еще три человека и, пристроившись к нему, стали сновать взад и вперед по приемной. Видя, что до него дела нет никому, Александр Сергеевич принялся разглядывать вышагивающих по приемной людей.

Справа, вплотную к мосье Дантесу, семенила невысокая худощавая женщина средних лет. Она старалась быть поближе к коротышке и поэтому наползала и наткалась на него при поворотах. Пушкин сразу узнал госпожу Люфу, он много раз видел ее по телевидению: мелкие невыразительные черты лица, очень короткая, как после тяжелой болезни, стрижка. В жизни госпожа Люфа оказалась еще менее привлекательной, чем на экране телевизора: лицо припухло и напоминало небольшой соленый помидорчик, даже уже немного подкисший.

Слева от мосье Дантеса вышагивала очень высокая молодая женщина в очень короткой юбке. Она что-то быстро говорила по-французски мосье. Причем шагать и го-

ворить одновременно ей было очень неудобно. Понятно, это переводчица.

Сзади за Дантесом, неотступно шаг в шаг, следовал сам Козлов. Козлов был разгорячен и все время вытирал красное вспотевшее лицо носовым платком.

– Мосье Дантес! – горячилась госпожа Люфа. – В интересах поддержки гласности и демократии в нашей стране вы должны увеличить кредиты на поставку сырокопченостей фирме Козлова!

– О-о-о? – выражение лица Дантеса говорило о полном непонимании.

– Дантес! – Люфа заговорила с пафосом. – Поддержав Козлова, вы поддержите все здоровые силы России! Герасим Козлов прекрасный человек и надежный партнер. Его предприятие обеспечивает колбасой и сырокопченостями больше половины населения Санкт-Петербурга. Благодарные сограждане избрали его в Законодательное собрание.

Переводчица довольно быстро перевела сложную тираду госпожи Люфа. В ответ Дантес только поднял брови и проговорил:

– О! Жерасим!

А госпожа Люфа продолжала характеризовать Козлова:

– Герасим прекрасный работник. Он рекомендовал себя в Думе: в комитете по экономической политике, в комитете по делам ветеранов, в комитете по наукоемким технологиям. Герасим – надежда России!!

Мосье Дантес был восхищен:

– О! Жерасим!

Госпожа Люфа, подбодренная его возгласами, продолжала:

– Народ верит Герасиму! Герасим защитит интересы граждан. Он добьется введения дополнительного пенсионного обеспечения, адресной социальной помощи наименее защищенным категориям граждан, реализации программ помощи инвалидам. Герасим – гордость Петербурга!!

Дантес, выслушав перевод, повернулся к Козлову и пожал ему руку, промолвив только:

– О!!

Однако Люфа на этом не успокоилась:

– Герасим талантливый человек, талант его громаден и многогранен. За такими людьми как Герасим будущее России! Организовав обмен металлолома из России на компьютеры в Америке, он обеспечил ими нашу промышленность и наше хозяйство. Герасим – это авторитет России за рубежом!!

– О! Жерасим!

Госпожа Люфа с пафосом воскликнула:

– Герасим Козлов – это тот человек, который сможет отстоять величие России и за-

щитить ее интересы! Мы, наш Союз, окажем ему в этом всяческую поддержку!

Француза, видно, заинтересовала последняя фраза, и он переспросил через переводчицу:

– Кто, мы?

– Мы, сильные и молодые! – с гордостью ответила Люфа и постаралась улыбнуться.

Помидорчик-лицо совсем скукожилось, обозначив возраст совсем уже не молодой. Однако француза это не смутило, и он смотрел на Люфу, с интересом ожидая продолжения. Она поняла, что пора переходить к делу.

– Дантес! Мы уверены в успехе. Но накануне выборов уверенность неплохо усилить колбасными подарками для пенсионеров и малообеспеченных. Вы должны нам помочь! Мы ведь не просто так! Если Козлов пройдет на выборах, он гарантирует вам в обеспечение кредитов лучшую недвижимость в городе!

Как только переводчица закончила фразу о недвижимости, лицо Дантеса приняло довольное выражение, и он с удовольствием произнес:

– О! Мадам Люфу! Иесс!

Затем француз приподнялся на носочки, повернулся кругом и быстро ушел в кабинет директора. Все трое: Люфа, переводчица и Козлов ринулись за ним. Дверь плотно прикрыли.

Александр Сергеевич, случайно ставший свидетелем разговора, не знал, как его воспринимать. А может быть, никак? Он поднялся с кресла, но секретарша попросила его еще минутку подождать, а сама исчезла за дверью. Через минуту она выскочила обратно и пригласила Пушкина следовать за собой. В соседней комнате, сплошь заваленной какими-то пакетами и свертками, она передала ему небольшую коробку, перевязанную ленточкой. Извинилась, что Дантес не смог уделить времени для беседы и попросила принять подарок.

Обескураженный и расстроенный вышел Александр Сергеевич на улицу. Однако скоро успокоился. В коробке должно быть что-нибудь значительное. Солидная фирма, солидные люди! «Конечно, наличными было бы лучше, – с сожалением подумал он, – но и так сойдет!»

Осторожно открыл Пушкин входную дверь и медленно, с осторожностью, зашел в квартиру. Тихо. Быстро прошел в кабинет, включил свет. На диване у стены лежала Наташа и внимательно на него смотрела.

– Презент, – смущенно кивнул Александр Сергеевич на коробку, – приз за «Гимн

мясников». Да ты не печалься раньше времени! Может быть, что толковое? Продадим, деньги будут!

Поэт поставил коробку на стол. Наташа взяла с полки ножницы и разрешила ленточку. Пушкин зажмурил глаза, но сейчас же открыл вновь, встревоженный громким смехом жены. На месте коробки на столе стояла аккуратная стопка кусочков туалетного мыла. Александр Сергеевич протянул руку, взял кусочек, прочитал на обертке: «Камей классик». Наташа продолжала смеяться.

«Эх! Дантес, Дантес! – вздохнул про себя Пушкин. – А еще француз! Морду бы тебе набить, ценитель! Куда податься поэту в России?!»

Поздно вечером, сидя в прокуренном насквозь помещении пивного зала, что на углу Ланского шоссе и набережной Черной речки, поэт опять вернулся к этой проблеме. «Ну, куда еще может пойти в России интеллигентный человек при ограниченных средствах? Только пива попить! Пивная – это клуб для простого человека!!» – размышлял Александр Сергеевич. Напротив него за столом сидел товарищ еще со школьных времен, а ныне профессор философии, Чаадаев. Чаадаев молча вращал между ладоней кружку с пивом. Разобиженный событиями дня Пушкин уже выговорился. Он поведал другу о своем визите на фирму Козлов-Дантес, о подарке француза. Теперь, усталый, ждал от товарища сочувствия или поддержки. Чаадаев был сосредоточенно задумчив, как и подобает истинному философу. Пушкин не хотел прерывать его размышления и тоже молчал. Он по хорошему завидовал другу. «Молодец Чаадаев! Место профессора в университете сохранил.



И вот оно то.
Коробка, ну уж бо
На переводчицу
Подарок наш
Коробка на мне
Вспомнил дим
И подарком
И не стоит
Даром мне
А ведь и бо

Зарплата, правда, копеечная, но – зарплата! Платят не регулярно, но ведь платят! А свой бизнес?! Да, не зря многие завидуют философу. Бизнес небольшой, но свой! Не то что у него: ямб да хорей! Ямб – ямбом, хорей – хореем, а бизнес есть бизнес – стабильно! Вот, пиво сидим пьем! Удачно, что сегодня «яйцовый день!» – размышлял поэт. Бизнес Чаадаева позволял друзьям изредка «расслабляться»: пива попить, или еще чего... Но это только в «яйцовые дни», то есть один раз в неделю. В этот день Чаадаев получает от тетки из деревни посылку с несколькими десятками куриных яиц. Яйца продает у себя в университете между лекциями преподавателям и аспирантам. Берут охотно: яйца домашние, более свежие, и дешевле, чем в магазине. Иногда Чаадаев выручает небольшими суммами и поэта. Пушкин с благодарностью смотрел на друга. Чаадаев все молчал и молчал, но внезапно как очнулся и заговорил низким глухим голосом.

– Ты, Саша, кругом неправ! – произнес он. – Дантес, Дантес! Ну, что Дантес?! Чего шумишь? Россию разорили, народ обворовали!!! При чем здесь Дантес? Что за люди?! У нас, ежели что неприятное случается, так виноваты непременно американцы, или немцы, или французы! Ну, на крайний случай, евреи! Что за дикость?! Пойми! Нас не Дантес обобрал, а Козлов! Сами мы себя разорили! Характер у нас такой, особенный. Талант! Талант – любое, даже очень хорошее дело, в мерзопакость превратить.

Чаадаев замолчал, но видя недоумение на лице друга, пояснил:

– Причиной всему наша алчность и наше чванство непомерные! Да, всем миром правит алчность и честолюбие, но у других народов есть святые, коих касаться никто не смеет! Мы же готовы торговать чем угодно и с кем угодно! Вся эту мерзость мы стеснительно называем «беспредел». Назовем и довольны, вроде дело сделали, как грех с души сняли! Мерзавцы! Живем в своем болоте! Свободу и гласность превратили в глухой забор, за которым хотим построить сытое довольное общество, общество без чести и совести!! Никакому Дантесу такое и в голову не придет!

Александр Сергеевич хотел было возразить, но Чаадаев и слушать не стал.

– Иди домой. Наташа ждет! – велел он поэту. – Поздно уже, пора. Пока доберешься к себе на Мойку! И штучки эти: «мы россияне!», ты брось! Это для Дантеса мы россияне. Друг для друга мы... Иди домой, Саша!

Печальный вышел Пушкин из пивной на тротуар набережной. Собрался перейти дорогу, остановился, пропуская транспорт.

Проезжавший на большой скорости джип вильнул и обдал Александра Сергеевича грязью с ног до головы. Поэт хотел отскокить, но поскользнулся и упал. Джип затормозил, из дверцы выглянула молодая полная и очень сильно накрашенная женщина. Видя, что ничего страшного не произошло, она обматерила Пушкина и машина покатила дальше.

Александр Сергеевич обтер лицо носовым платком. Перешел дорогу, приблизился к реке. Остановился у фонаря. Подошел бомж в галошах на босу ногу, хотел что-то попросить, но присмотрелся и передумал. Подбежал грязный вислоухий бездомный пес, сел рядом, преданно уставился в глаза, ожидая подачки. В тусклом свете фонаря на поверхности воды покачивался мусор.

Поэт еще раз посмотрел на опухшую физиономию бомжа, на облезлого пса, на грязную темную воду. На память опять пришли слова: «Товарищ, верь...» И все! Строфа дальше не складывалась.



«Творчество наших читателей»

..... (автор)

.....
(название)

(заполняется автором-читателем)

Первые Стетоскоповские ЧТЕНИЯ в Санкт-Петербурге

Мне позвонил интеллигентный человек и представился Александром Елсуковым. И страшно интеллигентно пригласил прийти в театр «Особняк», потому что он будет рассказывать про парижский журнал «Стетоскоп» и даже выдаст мне последний номер, в котором напечатаны куски моего текста «Мемуары Мани Ошибкиной».

Я очень люблю журнал «Стетоскоп» и тех, кто его делает и кого он делает, и сразу в голове пробуждается таким пунктиром Париж, и скват, где мы познакомились, и Мишина внизу мастерская, и разноволосые панки как рыбки плавают кругом, и Ольгины кроткие такие глаза — я бы уж давно там всех убила, а она из этого всего журнал сделала... Но я совсем, совсем не люблю без крайней надобности вылезать из дома в это время года по вечерам. Темно, холодно, ботинки одни натирают, а другие старые, как ни оденешься, ветер все равно влезает в самую душу и начинает там все мутить.

Я, конечно, люблю, если где-нибудь напечатают кусок «Мани Ошибкиной», но это, считай, за две недели первый выходной, надо дома прибраться и, по идее, капусту засолить, потому что она уже давно лежит и Лева на нее косится и делает носом... нюхательные движения. Нет, осень у меня не парижская, наоборот, антипарижская, к то-

му же антиболдинская, то есть на фиг ни творчества, ни денег, зубы надо лечить, и все время, каждый день еще куда-то идти...

Я, в принципе, люблю даже театр «Особняк», только туда очень неудобно добираться от дома... в метро пересадка — толпа, а если через мост — пробки...

Словом, я взяла с собой Сашеньку, запротив ей делать уроки, и мы пошли. Я её честно предупредила, что будет, но такого, мы, конечно, не ожидали... Я ей честно заранее купила сникерс, даже почти два, но потом все равно пришлось заходить в Макдональдс.

Когда мы подошли к театру «Особняк» — а вход там расположен в неосвещенной подворотне, из разбитого окна вылез страшно интеллигентный Саша Елсуков и с приветственной улыбкой сообщил, что в театре ремонт и потому заходить надо через окно. Мы зашли, а он ушел. В театре везде стояли банки с краской, лежали доски, мешки и была насыпана куча песку. Посреди этого стояло несколько стульев, покрытых цементной пылью. Саша Елсуков интеллигентно влез в окно вместе с какой-то дамой и попросил нас присаживаться. Потом в окно залезли еще две дамы и даже два мужика. Все сели на пыльные стулья и Саша стал рассказывать, что вот есть такой

журнал «Стетоскоп» и стал показывать нам этот журнал. Я стала думать, что это розыгрыш и стала смеяться. Я вспомнила про один знаменитый папин розыгрыш, когда приличных людей пригласили на Новый год к другим вполне приличным людям (в смысле, к нам), и те пришли и увидели облезлую елку, украшенную одним картонным волком, грязный стол с пустой бутылкой и селедочным хвостом, и на диване мордой вниз храпел мужик в дырявых носках. И еще этих гостей не выпускают скорее уйти из этого страшного места, чтобы успеть встретить новый год дома. Ну, потом-то все хорошо заканчивалось — их вели в другую комнату с накрытым столом, настоящей елкой и нарядами женщинами, и вся компания вдвойне давилась от смеха. И вот я стала прикидывать, где тут можно накрыть стол, и получалось, что негде — театр «Особняк» театр маленький и любой стол там сразу на виду. И от смеха, кроме меня, тоже никто, в общем-то, не давился. Интеллигентный Саша Елсуков, озабоченно посматривая в мою сторону, объявил перерыв, и два мужика, естественно, мгновенно смылись, а тетки остались. И я осталась! Посмотреть, чем кончится. Хотя страшно замерзла и хотела писать. И Сашенька тоже. Во втором отделении этого розыгрыша интеллигентный Саша Елсуков стал читать какой-то текст, про который он сказал, что это текст анонимный и он его взял на сайте, но я стала думать, что, наверно, это его текст, потому что

как же можно так долго читать чужой, да еще анонимный текст в таких блокадных условиях! Я изо всех сил хотела тоже стать такой же интеллигентной, как Саша Елсуков, и не обращать внимания на холод и страшную разруху вокруг, но тут мне стало казаться, что это уже не интеллигентный Саша Елсуков читает текст, а просто Пушкин, и от этого меня просто бросило в жар. То есть вроде бы как и теплее. Смотрю — то Елсуков, то Пушкин, то Пушкин, то опять Елсуков! Не помню, кто из них закончил чтения, потому что мы с моей Сашенькой очень хотели писать (не писать, а писать), и побежали со всех ног до Макдональдса. А это почти две остановки! Дома я попросила у Левы водки и он, глянув на меня, сразу налил. К ночи я почти согрелась и перестала дрожать.

И вот вчера мне опять позвонил очень интеллигентный человек. Опять представился Александром... Да нет, Елсуковым. И тихо попросил написать небольшой отзыв о прошедшем вечере. Я хотела ему сказать... Но, разумеется, не сказала. Какой еще отзыв! Отзыв! Что я, совсем уже, что ли? Но с другой стороны, вдруг все наоборот? Вдруг это не отзыв, а призыв! Ничего же предугадать же вообще нам не дано, как там что отзовется... А вдруг вообще не отзовется? Никак? Нехорошо...

Тем более, что интеллигентный голос назначил еще одно заседание — тридцатого мартабря.

Мария Смирнова-Несвицкая





В библиотеке «±Стетоскопа»

вышли в свет следующие книги:

- Михаил Король.
INVALIDES. Стихи. – 48 с.
- Алексей Смирнов.
Ядерный Вий. Рассказы. – 120 с.
- Кароль К.
Verba et voces. Стихи. – 74 с.
- Антон Козлов.
MUNAS. Стихи. – 36 с.
- Михаил Богатырев.
Без права переписки. – 68 с.
- Анатолий Ливри.
Выздоровливающий. – 40 с.
- Серия «АНП» («Антология несуществующих произведений»):
Митрич.
Размышления о беличьей кисти. – 36 с.
- Михаил Богатырев.
Шлагбаум. – 40 с.

Готовятся к печати:

- Митрич.
Книги о художниках.
(Серия из трех книг: «А», «Б», «В»)

Книги можно заказать в редакции журнала.

Спешите!!!
Помните, что книга – лучший подарок!

Над номером работали:
Ольга Платонова, steto@club-internet.fr
Александр Елсуков, stetoskop@mail.ru

Для писем:
Platonova Olga, 37 rue Simart, 75018 Paris

Телефон в Париже: 01 42 59 07 40
Телефон в Санкт-Петербурге: 437 33 83

ISSN 1295-4918

Часть тиража оформляется как раритетное издание

Электронная версия журнала:
<http://stetoskop.da.ru>

**Издатели: Митрич+Богатырь
Париж 2002**

издатели: Митрич+Богатырь
париж 2002